

ЭПИЛОГ

I

Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года.

Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая малейшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства: разъяснил тайну *заклада* (деревянной дощечки с металлическою полоской), который оказался у убитой старухи в руках; рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена; даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней; разъяснил загадку об убийстве Лизаветы; рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав все, что они между собой говорили; как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки; как он спрятался в пустой квартире, пришел домой, и в заключение указал камень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробностях всех вещей, собственно им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным (в кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных; от долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные, бумажки чрезвычайно попортились). Долго добивались разузнать: почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво? Наконец, некоторые (особенно из психологов) допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень, но тут же из этого и заключали, что самое преступление не могло иначе и случиться, как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут кстати подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Зосимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя, на окончательные вопросы: что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, с самою грубою точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, трех тысяч рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти уже грубо...

Приговор, однако ж, оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя.

Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частью за действие пробудившегося раскаяния, частью за не совершенно здоровое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельство нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение: человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая! Наконец, явка с повинною, в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера (Николая) и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось (Порфирий Петрович вполне сдержал слово), все это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного.

Объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжение полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста), поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что, когда они еще жили в другом доме, у Пяти Углов, Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работа второго разряда, на срок всего только восьми лет, во уважение явки с повинною и некоторых облегчающих вину обстоятельств.

Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтоб иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видаться с Авдотьей Романовной. Болезнь Пульхерии Александровны была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не совершенно, то по крайней мере отчасти. Дуня, воротившись с последнего свидания с братом, застала мать уже совсем больною, в жару и в бреду. В этот же вечер сговорила она с Разумихиным, что именно отвечать матери на ее расспросы о брате, и даже выдумала вместе с ним, для матери, целую историю об отъезде Раскольникова куда-то далеко, за границу России, по одному частному поручению, которое доставит ему наконец и деньги и известность. Но их поразило, что ни об чем этом сама Пульхерия Александровна ни тогда, ни потом не расспрашивала. Напротив, у ней у самой оказалась целая история о внезапном отъезде сына; она со слезами рассказывала, как он приходил к ней прощаться; давала при этом знать намеками, что только ей известны многие весьма важные и таинственные обстоятельства и что у Роди много весьма сильных врагов, так что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомненною и блестящею, когда пройдут некоторые враждебные обстоятельства; уверяла Разумихина, что сын ее будет со временем даже человеком государственным, что доказывает его статья и его блестящий литературный талант. Статью эту она читала беспрерывно, читала иногда даже вслух, чуть не спала вместе с нею, а все-таки, где именно находится теперь Родя, почти не расспрашивала, несмотря даже на то, что с нею, видимо, избегали об этом разговаривать, — что уже одно могло возбудить ее

мнительность. Стали, наконец, бояться этого странного молчания Пульхерии Александровны насчет некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, тогда как прежде, живя в своем городке, только и жила одною надеждой и одним ожиданием получить поскорее письмо от возлюбленного Роди. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню; ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына и боится расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка.

Раза два, впрочем, случилось, что она сама так навела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь Родя; когда же ответы поневоле должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидела наконец, что трудно лгать и выдумывать, и пришла к окончательному заключению, что лучше уж совершенно молчать об известных пунктах; но все более и более становилось ясно до очевидности, что бедная мать подозревает что-то ужасное. Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред, в ночь накануне того последнего рокового дня, после сцены ее с Свидригайловым: не расслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто, иногда после нескольких дней и даже недель угрюмого, мрачного молчания и безмолвных слез, больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих надеждах, о будущем... Фантазии ее были иногда очень странны. Ее тешили, ей поддакивали (она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивают и только тешат ее), но она все-таки говорила...

Пять месяцев спустя после явки преступника с повинною последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было возможно. Соня тоже. Наконец последовала разлука; Дуня поклялась брату, что эта разлука не навеки; Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущее три-четыре года, по возможности, хоть начало будущего состояния, скопить хоть сколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и... всем вместе начать новую жизнь. Прощаясь, все плакали. Раскольников самые последние дни был очень задумчив, много расспрашивал о матери, постоянно о ней беспокоился. Даже уж очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнав в подробности о болезненном настроении матери, он стал очень мрачен. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во все время. Соня с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым; но оба знали, что это так будет. В самое последнее прощанье он странно улыбался на пламенные удостоверения сестры и Разумихина о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги, и предрек, что болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня наконец отправились.

Два месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Зосимов. Во все последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения, да и не могла не верить: в этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить курс. У них обоих составлялись поминутно планы будущего; оба твердо рассчитывали чрез пять лет наверное переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню...

Пульхерия Александровна с радостью благословила дочь на брак с Разумихиным; но после этого брака стала как будто еще грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить ей приятную минуту, Разумихин сообщил ей, между прочим, факт о студенте и дряхлом его

отце и о том, что Родя был обожжен и даже хворал, спасши от смерти, прошлого года, двух малюток. Оба известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерию Александровну почти до восторженного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице (хотя Дуня постоянно сопровождала ее). В [публичных каретах](#), в лавках, поймав хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжен на пожаре и прочее. Дунечка даже не знала, как удержать ее. Уж кроме опасности такого восторженного, болезненного настроения, одно уже то грозило бедой, что кто-нибудь мог припомнить фамилию Раскольников по бывшему судебному делу и заговорить об этом. Пульхерия Александровна узнала даже адрес матери двух спасенных от пожара малюток и хотела непременно отправиться к ней. Наконец, беспокойство ее возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболела и в жару бредила. Однажды, поутру, она объявила прямо, что, по ее расчетам, скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно чрез девять месяцев надо ожидать его. Стала все прибирать в квартире и готовиться к встрече, стала отделявать назначавшуюся ему комнату (свою собственную), отчищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приему брата. После тревожного дня, проведенного в беспрерывных фантазиях, в радостных грезах и слезах, в ночь она заболела и наутро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Чрез две недели она умерла. В бреду вырывались у ней слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына, чем даже предполагали.

Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Устроилась она чрез Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными; но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей, и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайною подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно; тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты.

Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж ее по этим известиям, особенно вначале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, несловоохотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, которые она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем; что он спрашивает иногда о матери; и когда она, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему наконец об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере так показалось ей с наружного вида. Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, — к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто, что он ясно понимает свое положение, не ожидает вблизи ничего лучшего, не имеет никаких легкомысленных надежд (что так свойственно в его положении) и ничему почти не удивляется среди новой окружающей его обстановки, так мало похожей на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно. Он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается. К пище почти равнодушен, но что эта пища, кроме воскресных и

праздничных дней, так дурна, что, наконец, он с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай; насчет всего же остального просил ее не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему. Далее Соня сообщила, что помещение его в остроге общее со всеми, внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово; что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить. Но что живет он так грубо и бедно вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намерению, а так просто от невнимания и наружного равнодушия к своей судьбе. Соня прямо писала, что он, особенно вначале, не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее, был несловоохотлив и даже груб с нею, но что под конец эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у острожных ворот или в [кордегардии](#), куда его вызывают к ней на несколько минут; по будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобрести в городе даже некоторые знакомства и покровительства; что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимою; не упоминала только, что через нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее. Наконец, пришло известие (Дуня даже заметила некоторое особенное волнение и тревогу в ее последних письмах), что он всех чуждается, что в остроге каторжные его не полюбили; что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг, в последнем письме, Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале, в арестантской палате...

II

Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он, по крайней мере, добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища — эти пустые щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе и не чувствовал. [Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки?](#) Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху*, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна непрерывная жертва, которою ничего не приобреталось, — вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить! Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении.

По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, *на свободе*, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.

«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так... странною. О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!

Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес, и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.

Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?

Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.

Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостию и ничтожностью). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею! Именно, ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании с которым бродяга мечтает как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры, еще более необъяснимые.

В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, — один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно замечал и их ошибку.

Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть — почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее.

— Ты барин! — говорили ему. — Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело.

На второй неделе Великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, — произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

— Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном иступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей — не то пролилась бы кровь.

Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она *за ним* последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только, на Рождестве, принесла она на весь острог подавание: пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены и их любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, — все снимали шапки, все кланялись: «Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» — говорили эти грубые [клеимые каторжные](#) этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.

[Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую.](#) Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно

другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти в этом мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса.

Раскольников мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во все время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдаль, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав, в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебаstra и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом; другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье;

она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же наконец эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?

Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бледное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какою бесконечною любовью искупит он теперь все ее страдания.

Да и что такое эти все, *все* муки прошлого! Всё, даже преступление его, даже приговор и ссылка казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое.

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления по крайней мере...»

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, *только* семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен.